

ПРЕТЕНДЕНТ  БЕСТ\$ЕЛЛЕР!

Д М И Т Р И Й И В А Н О В

ДМИТРИЙ ИВАНОВ



Заяц
над
бездной!



Москва
2016

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
И20

Оформление серии – *Петр Петров*

Оформление переплета – *Алексей Дурасов*

Иванов, Дмитрий Владимирович.

И20 Заяц над бездной : [сборник повестей и рассказов] / Дмитрий Иванов. – Москва : Издательство «Э», 2016. – 288 с. – (Претендент на бестселлер!).

ISBN 978-5-699-88903-7

Счастье – запотевший кувшин молодого вина, откупоренного любовью. Бьющее через край, оно заливает улицы веселой хмельной волной, смывает сухие листья зависти, глупости, тщеславия, усыпающие его путь. И поток его не иссякнет, пока есть память рода, пока танцует сердце. О таком юном и дерзком счастье – избранные рассказы и повести известного сценариста Дмитрия Иванова, в которых под метроном Дanelия звучат скрипичная грусть Квирикадзе, раздумчивый дудук Иоселиани, разнузданные тромбоны Кустурицы. Эти добрые притчи, в основе которых традиции рода, душа нации, оживают в сознании в лучших традициях большого кино.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-88903-7

© Иванов Д., 2016
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

ПОВЕСТЬ

ПРАЗДНИК
УРОЖАЯ

Славик протянул руку к крану горячей воды и убавил напор. Поток тонких струй стал слабей. Славик с удовольствием подставил голову под воду. Он был, что называется, и ладно сложен, и крепко сшит. Длинные ноги — сейчас обтянутые струями воды. Задница — крепкая, жилистая. Спина боксера — последний раз подававшего надежды лет десять назад. Славику тридцатник.

Он принимал душ уже минут десять, старательно. И улыбался. Наконец, выключил воду. Потянулся за полотенцем, выставив мокрую ногу из душа. Вытерся — с ног до головы, не торопясь, с удовольствием. По-детски яростно, почти насухо растер шевелюру. Потом одну ногу, вторую. Грудь. Живот. Пах. Руки — одну, вторую. Спину. Накинул халат. Маленькое, а удовольствие. После душа — в уютный махровый халат. Посмотрел на себя в зеркало. Последующую минуту посвятил прическе — волосы уложил на аккуратный пробор. Пшикнул флакон одеколona.

Славик посмотрел на себя шутивно-сурово в зеркало. Легко похлопал ладонью по гладко выбритым щекам. Быстро и глубоко наклонил

голову влево-вправо — боксерская привычка. Теперь бесполезная, но пусть будет. Что, мешает? Нет, не мешает.

Потом он открыл дверь ванной и бодро шагнул через порог.

В трех шагах от него стоял человек. Лицо Славик не успел увидеть — потому что увидел пистолетное дуло.

Оно смотрело ему прямо в лоб.

Человек держал пистолет в вытянутой правой руке.

Через секунду он выстрелил Славику в голову.

Больше ничего Славик не видел.

* * *

Я постараюсь рассказать все так, как оно было.

Это дерево, наше старое дерево. Длинные побеги старого виноградного дерева тянулись вдоль всего двора.

Вдоль всего двора, от калитки до самой дальней квартиры, на уровне крыш — для кроны дерева, для его жилистых, суставчатых рук поставлены были опоры, между ними — паутина из тонких металлических труб. На этой самодельной конструкции проходила жизнь дерева, вдоль нее разрастались по двору в поисках нового пространства его чуткие всеядные руки.

А еще — наше общее дерево тогда было небом, оно укрывало собой большую часть бесконечной — так говорят — вселенной над старым двором. Примерно на его середине, прямо над

квартирой номер три, в которой жил тогда я, рук у дерева становилось меньше, они были толще и жилистей, суше, это были его главные руки, и кое-где на них уже старчески топорщилась сероватая древесная кожа. Потом, спускаясь вдоль опор, руки вдруг сливались в один толстый изогнутый ствол — внутри палисадника он, наконец, встречался с землей. Там было начало дерева, его крепкие корни.

Моя память следует дальше, по старому асфальту, к самому центру двора — хотя это и не асфальт уже вовсе: участков, на которых растет, потихоньку выпучивая и разламывая его, упрямая простая трава — гораздо больше. В линиях разлома, кроме того, можно обнаружить пару полуконспиративных муравейников.

Потом моя память на секунду остановится на канализационном люке — он древний, большой, по диаметру больше и по форме выпуклей нынешних, и, наверное, очень массивный. В центре люка, как в центре древнего боевого щита — старый, королевский герб и изрядно оплешивевшая от времени надпись: MUNICIPIA — то есть Город. Но город был где-то там, за пределами, за зеленой калиткой, и к нам, к нашей жизни тогда — он не имел отношения.

В тот день в самом центре двора стояла могучая бочка. В ней, потемневшей от времени и виноградного сока, в Праздник урожая, то есть сегодня — давили собранный с нашего общего дерева темный виноград. Сегодня был празд-

ник, в центре праздника была бочка, а в ней — была Рая.

Ноги у нее действительно были адски красивые — этого нельзя было не видеть, и нельзя было не смотреть. Они давили виноград безжалостно и весело. Синевато-красные брызги и раздавленные виноградинки летели во все стороны. На ней было желтое, солнечно-желтое платье, бессовестное, как всё на юге, Рае совсем не жалко было этого платья — оно порядком уже было забрызгано виноградным соком, но Рая продолжала дико выплясывать в бочке, под оголтелую, бесконечную и не думающую во все о том, что будет завтра, мелодийку — ее наяривал расположившийся здесь же, во дворе, в паре метров от бочки, оркестр.

Хотя оркестр — это очень громко сказано, на самом деле это просто шестеро неизменно нетрезвых лабухов, играющих всюду, где заплатят или, в крайнем случае, неоднократно нальют. Вот состав оркестра, я помню ясно их лица: это Трубач, а это Аккордеонист, а это Скрипач дядя Петря, а это вот Доба — большой барабан, он висит на ремне, на плече лабуха, который радостно бьет в большой барабан толстой палкой, и так понимает, что жив, и улыбается красным лицом. А это вот Туба — медный инструмент, с гигантским раструбом, помятым, по-цыгански неистово отливающим на солнце лживой позолотой; Туба, точнее, играющий на ней, обычно выполняет в ансамбле функцию баса, если еще в состоянии ее выполнять. И наконец, вот Цим-

бал — ударный инструмент, у него дрожащий печальный звук, на цимбале играют сидя, поэтому обычно он составляет композиционный центр ансамбля, играют на нем двумя длинными палочками, кончики которых плотно обмотаны грязноватыми тряпицами. Надо признать, вид у оркестра очень разнузданный, что в полной мере можно отнести и к репертуару.

От лабухов, наярывающих бешеную хору, — хора — это такой быстрый танец для людей, считающих, что жизнь коротка и не следует делать из этого трагедию — моя память следует дальше и поочередно встречается со всеми соседями.

Прежде всего с Вахтами.

Старого Вахта звали Вэйвэл Соломонович, а старуху Вахт все звали просто Ривой. По Вэйвэлу Соломоновичу можно было сразу сказать, что в его жизни давно и прочно первое место среди увлечений заняло столовое вино. По этой причине Вэйвэл ходил с палочкой — суставчатой дешевой тростью, сделанной из вишни и покрытой красноватым грубым лаком. Эта трость появилась у Вахта после того, как однажды зимой, посетив винный погреб Мош Бордея — это имя переводится с местного наречия — Деда Погреба, Вахт ушел куда-то в город, там еще пил, потом упал и сломал себе ногу. Вэйвэл Вахт высок, сутул, как это бывает с высокими, костляв, как это бывает с сутулыми, горбонос, как это бывает с многими в этой местности, серовато сед и ворчлив. По-своему пижонист, как это бывает с

людьми его поколения. На Вэйвэле Соломоновиче я помню старенький, но всегда тщательно вычищенный пиджачок, а брюки слегка коротковаты, но тоже — всегда идеально отутюжены. Вахт делает это старым, тяжелым, ржавым утюгом. Да, и туфли! Еще помню его туфли. Отчаянно нагуталенные.

Сейчас это практически всё, что стоит сказать о Вэйвэле Вахте. Остальное он расскажет о себе сам. Начнет рассказывать — не остановишь.

Да. Парадные туфли Вахта производили на меня большое впечатление, когда я был маленьким. И особенно в солнечный день. В них отражался весь — мой тогдашний — мир. Мне казалось, что когда Вахт ходит, в его туфлях отражаются деревья, и небо, и голуби, которые в те времена всегда летали в небе. Да, и вот что я вспомнил: такое состояние туфель Вахта тесно связано с днем субботним.

Утром дня субботы Вахт просыпался растерзанный и, отмахиваясь от кошмаров вечера пятницы, сразу бросался на кухню, где принимал стаканчик розового. Настроение Вэйвэла Соломоновича исправлялось прямо на глазах. Он съедал в качестве закуски одну большую редиску и улыбался. Потом выходил на порог, и включал электробритву. Она называлась «Харьків», была примитивная, очень массивная, как это часто бывает со всем примитивным, и имела длинный, жутко путающийся сам в себе крученный шнур. Машинка, как это полагается прими-

тивными моделям, громко гудела. И еще — переливалась на солнце. Если дело происходило, например, летом, наглое южное солнце влезало в зеркало Вахта — круглое старое зеркальце с ручкой, и по всему двору тогда разлетались солнечные зайчики.

После бритья Вахт несколько раз громко дул в машинку — выдувал из нее седые волосы, потом уходил на минуту в дом и снова появлялся на пороге — уже с флаконом одеколона. Вэйвэл обильно, причмокивая от удовольствия синева-тыми губами, дезинфицировал щеки и шею — одеколоном «Русский лес». В чем был определенный цинизм. Как теперь мне кажется.

Потом Вахт надевал накрахмаленную белую рубашку, с запонками. Старый шелковый галстук расцветки такой, о которой можно сказать, что такую не носят уже лет тридцать и вот-вот начнут снова носить — галстук был бархатно-красный, с желтым и черным. Пиджачок, штаны и туфли, яростно начищенные с вечера.

Потом, нагнувшись осторожно и не слишком резко, как это делают энтузиасты столового розового, Вэйвэл проходился разок-другой бархоткой по носам туфель. Брал трость, прихрамывая, проходился по двору и, наконец, уходил, сказав Риве, вышедшей его провожать на порог:

— Я иду в синагогу! — громко и отчетливо.

— Скажи ребе, я умираю, — громко говорит в ответ Рива. — Пусть придет!

— Не морочь ребе голову, — жестоко отвечает ей Вахт. — Когда сдержишь слово, придет.

— Не пей! — громко и безнадежно кричит Вахту вслед Рива, когда он уже хлопает калиткой.

В субботу Вахт шел в синагогу. Я не знаю, что он там делал. Зато я знаю, что он делал потом. После синагоги в день субботний Вахт направлялся в рюмочную, на углу улиц Армянской и Пирогова, где до самой ночи пил вино. Хотя «до самой ночи» — это не всегда получалось. Как скажет вам любой энтузиаст столового розового, сумерки разума часто наступают раньше сумерек природы. Особенно в этой местности.

Вахт шел из синагоги в рюмочную по узким улицам одноэтажного города со своими друзьями — все они были старые, пьющие, не удавшиеся в этой жизни евреи. У входа в рюмочную в день субботний обычно играли лабухи. Когда они играют еврейские песни, даже лица у них становятся еврейские: грустные, без родины.

— Да-а-а! — с печальным пафосом заявлял уже в рюмочной Вахт своим друзьям, допивая стакан вина. — Знаете, что сказала моя мама, когда ей первый раз показали меня в родильном доме? Она сказала: боже мой, смотрите, какие у него уши, это настоящие аидише уши, теперь таких нет!

В рюмочной Вахт общался со своими горбоносыми приятелями, предавался религиозным и прочим рефлекторно возникающим у него на почве алкоголя чувствам.

Потом — Вэйвэл уже не входил, а вваливался во двор и, теряя по дороге запонки и пуговицы,

волочился в свою, самую дальнюю, двенадцатую квартиру.

Когда, натыкаясь на подлые стулья, нарочно старающиеся задеть Вэйвэла Соломоновича, Вахт старался тихо раздеться — Рива, страдавшая в числе много другого бессонницей, всегда очень громко спрашивала:

— Вэйвэл! Ты напился? Ты напился?

Вэйвэл отвечал ей просто:

— Нет.

Он Риве лгал.

Утром воскресенья Вахт был мрачен. Осторожно ступая по двору, как это бывает с людьми, не помнящими половины вчерашнего вечера и потому не уверенными, ходили они тут вчера или нет, он искал. Запонки и пуговицы.

Рива Вахт всегда была нелюдима, видом довольно страшна, похожа на Бабу-ягу, только еврейскую. Сколько я себя помню, Рива во двор выходила редко — она всегда болела, никто не знал чем. У нее было очень плохое зрение. Еще я помню гребешок, старый, которым она чесала свои длинные седые патлы. И — шаль, у нее была старая, серая пыльная шаль, какая непременно должна быть у всякой ведьмы. И у Ривы она была. Ну а главной слабостью Ривы были голландские белые куры. Рива так говорила про них:

— Это настоящие голландские куры! Смотрите, какие у них ноги! Разве у простых кур такие ноги?